

ОСКАР УАЙЛЬД

ЗАМЫСЛЫ



ПАЛЬМИРА
Т8 ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Москва / Санкт-Петербург

2 0 2 5

УДК 82-821+82-95

ББК 83.3

У13

Перевод с английского

Предисловие К. Чуковского

Уайльд, О.

У13 Замыслы : [сборник] / Оскар Уайльд ; [пер. с англ.; предисл. К. Чуковского]. — М. ; СПб. : «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2025. — 303 с. — (Серия «Пальмира — искусство»).

ISBN 978-5-517-10814-2

Снискавший славу блестящего стилиста и неподражаемого остро- слова Оскар Уайльд (1854–1900) был не только выдающимся писателем и драматургом, но и талантливым критиком, увлеченным исследователем окружавшей его жизни и прежде всего — искусства, для которого он сам стал шокирующим откровением и вызовом.

В настоящий сборник вошли избранные эссе Оскара Уайльда: сборник «Замыслы», («Intentions», 1891), ставший его художественным манифестом, а также лекции и миниатюры, посвященные различным вопросам литературы, критики и общества. Это собрание остроумных замечаний и в то же время развернутая эстетическая программа писателя, способная служить автокомментарием к его произведениям. В эпоху повсеместного «упадка лжи» под видом необязательной салонной болтовни Уайльд говорит о тайне воображения, способной подчинить жизнь прихотливой логике «грешного и своевольного» искусства, и утверждает единственно возможную для себя истину — истину красоты, стоящую выше любых правил и предрассудков.

**УДК 82-821+82-95
ББК 83.3**

© Дейч А. И., наследники, перевод на русский язык, 2025

© Чуковский К. И., наследники, предисловие, перевод на русский язык, 2025

© Оформление.

АО «Т8 Издательские Технологии», 2025

ISBN 978-5-517-10814-2

ОСКАР УАЙЛЬД

I

Он радовал, он изумлял. Вы сразу начинали его обожать. Вот он входит в комнату, в гостиную, изысканно одетый, усталой походкой, тяжелый, немного обрюзгший, — и не проходит пяти минут, как вы в него влюблены.

Его речь — великолепный оркестр: то будто флейта, то скрипка, то будто грандиозный орган. Вы слушаете его, как Шаляпина, вы не переводите дыхания и боитесь только одного: как бы он не перестал говорить.

За столом, усыпанным фиалками, за бокалом шампанского, в освещенных, огромных залах — блестящим графиням, послам, князьям, герцогиням, в Париже или в Лондоне, по-французски, по-английски он рассказывал детские сказки, притчи, легенды, повести, драмы, — и эти великосветские люди порою рыдали, как дети, слушая его импровизации.

Он был гений разговора, беседы. Не то чтобы «оратор» или «рассказчик», а именно повествователь, собеседник.

— Когда он говорил, мне казалось, я вижу над его головою сияние, — вспоминает о нем одна леди. И вот что говорит о встрече с ним французский писатель Рено:

«Казалось, мы раньше и не знали, что слова человека могут быть до того обаятельны. Он опьянил нас лиризмом. Его речь зазвучала, как гимн. Мы страстно и напряженно внимали ему. Этот англичанин, сперва показавшийся нам таким манерным позером, — теперь создавал перед нами с отменной простотою величайшую оду, какую только слыхало в веках человечество. Многие из нас, растроганные, плакали... И не забудьте: это было

в гостиной, и он говорил только так, как принято говорить в гостиной».

— В истории всего человечества, — свидетельствует Richard Sherard, — не было такого собеседника. Он говорил — и все, кто внимали ему, изумлялись, почему же весь мир не внимает ему.

Положительно он был Шехерезадой великосветских салонов. Щедрая, богатая, роскошная душа, он мог бы творить том за томом, книгу за книгой, — но он любил проявлять свой магнетизм именно на людях, в толпе, в каких-нибудь пышных залах, где светло, и богато, и празднично, — и не для его темперамента было сидеть за столом и водить пером по бумаге. «Я мог бы сделаться популярным писателем, но ведь это же так легко», — заявил он как-то однажды, и здесь не было ни капли рисовки. Его друзья вспоминают теперь множество его не написанных рассказов, поэм, легенд, множество его несозданных созданий, «но, — как часто высказывал он, — я чересчур поэтичен, чтобы заниматься поэзией», — и он разбрасывал свои сокровища с безоглядной расточительностью богача.

Много блестящих книг не было бы написано, если бы авторы их не подслушали в свое время Оскара Уайльда.

У него был брат, сочинитель, посредственный поставщик фельетонов, и когда этому брату не о чем было писать, он приходил к Оскару:

— Мне бы нужно два или три рассказа...

— Отлично! — отзывался Оскар и, дымя неизменной своей папиросой, принимался сочинять для брата одну повестушку за другою. — Ты напиши вот так, ты напиши вот так, — приговаривал он и рассказывал, что однажды в полчаса изложил перед ним пять или шесть сюжетов.

Многим «братьям писателям» он дарил таким образом темы, а сам очень долго почти ничего не писал, и долго в нем признавали лишь талант изустного слова:

«Что же, — говорил его биограф, — ведь величайшие мудрецы и пророки были именно нисколько не писатели: разве писал Сократ? Разве Гомер писал?»

И первые десять лет очень многим казалось, что в литературе он дилетант, случайный блестящий гость, что писанье его — это так, между прочим, а главное его назначение — блистать в блестящих салонах.

И уже установилось тогда — в газетах, в журналах, в литературных кружках — такое к нему отношение, как к какому-то полу-писателю, одному из огромного сонмища «вечно подающих надежды», — как вдруг в один-единственный вечер ему сразу выпал на долю оглушительный, ошеломительный успех: в конце февраля 1892 года на сцене лондонского Джемс-театра была поставлена его четырехактная пьеса «Веер леди Уиндермир».

Из сомнительного дилетанта он сразу, в глазах всего английского общества, стал знаменитым писателем.

«Без преувеличения можно сказать, что Уайльд произвел революцию в области драматургии, — писал о нем критик Ingleby. — Кто, кроме него, обнаружил на сцене столько изящнейшего остроумия, такую утонченность вкуса, такой благородный стиль? Кто мог бы, подобно ему, держать весь зрительный зал в таком оцепенении восторга? И многие ли умели исторгать у этой разношерстной толпы беспрестанные единодушные возгласы: “Как великолепно! Как верно!”»

На пьесах Уайльда каждый шепчет это сперва про себя, а потом, наконец поняв, что под ярким покровом парадоксов скрывается глубокая истина, высказывает это и вслух и делится восторгами с соседом».

Пьесы Оскара Уайльда обаятельны больше всего потому, что в них под разными именами фигурирует сам Уайльд. В каждой из этих пьес два или три персонажа — такие же гении беседы, гении разговора, каким был и сам их создатель. Они беспрестанно острят; они засыпают друг друга афоризмами, парадоксами, они жонглируют словами, как мячами, они пускают словесные фейерверки: словесные ракеты, «шутихи» — больше всего шутих. Как будто про них написаны эти строки русского поэта:

Раз был пир, то пир был граций.
Острых слов, импровизаций
И речей лился каскад.

Когда читаешь комедии Уайльда: «Веер леди Уиндермир», «Идеальный супруг», «Нужно быть серьезным» и «Заурядная женщина» — то сами собой вспоминаются эти стихотворные строки. Действительно какие-то «каскады» импровизаций и острых слов. И чувствуешь, что эти-то «каскады» Уайльду дороже всего. Ради них-то написана пьеса. В пьесе Уайльда может быть банален сюжет, неинтересна завязка, примитивны характеры — и все же поразительный, необычайный диалог делает ее великолепной. Похоже, как будто Уайльд взял первую попавшуюся тему — просто как канву, чтобы расшить ее пышными своими узорами. И кажется порою, что на сцене сразу два или три Уайльда: один Уайльд спрашивает, другой Уайльд отвечает, третий смеется над обоими. Нигде он не проявил с такой силой свою зловещую способность к насмешке, к эпиграмме, к иронии, как именно в этих комедиях.

С особенным, небывалым восторгом был встречен его фарс: «Нужно быть серьезным». Эту пьесу он написал в две недели. Пьеса ставилась каждый день, и каждый день театр был полон.

«Ежедневно весь зрительный зал сотрясался от смеха; так еще никогда не смеялись в театре», — пишет Роберт Шерард.

Даже суровый критик академически-сухого «*Athenaeum*» написал в своей театральной рецензии: «Мне надо было злиться и хмуриться, а я хохотал. Хохотал против воли — и все хохотали».

В пьесе не один и не два, а пять или шесть Уайльдов. И у каждого свой «каскад» бриллиантовых сверкающих импровизаций.

«Как это лестно для национального нашего чувства! — писал один англичанин. — После пьесы Уайльда нас больше нельзя упрекнуть в нашей британской мрачности» (Rob. Sherard. *Life of Oscar Wilde*, p. 332).

«Мы должны быть благодарны мистеру Оскару Уайльду за то, что дарами веселья он обогатил нашу нацию», — возглашал другой англичанин («*The Sketch*»).

Кажется, это первый случай, что за фарсом, за буффонадой была признана национальная заслуга!

II

Когда впервые с таким успехом была поставлена первая пьеса Уайльда «Веер леди Уиндермир», а перед поэтом сразу открылся путь славы, богатства и почестей, произошел очень мелкий, но странный случай.

Публика после спектакля, конечно, кричала: «автора!» И автор к публике вышел и сказал даже речь, но при этом у него между пальцев была папироска. С окурком в руке он предстал пред лицом «ее высочества публики» — и молвил весьма небрежно:

— Что ж! Если пьеса вам нравится, я чрезвычайно рад. Мне она тоже понравилась.

Это было принято, как вызов, как пощечина, и велика была ярость зрителей.

«Я видел, как у многих нервно сжимались кулаки, и не одобровать бы драматургу, если бы он им попался!» — писал один рецензент и высказывал этим кулаком полное свое одобрение.

Такие кулаки, такие взрывы злобы часто сопровождали и часто встречали Оскара Уайльда, и это было ему по душе, ибо вообще дразнить, сердить, раздражать, возмущать была его любимая страсть.

Он, который мог при желании так очаровывать и увлекать, всегда как будто нарочно старался вызвать к себе раздражение и ненависть.

Он выступил в литературе, как «апостол эстетики», и, кажется, принял все меры, чтобы быть осмеянным и ненавидимым. Он нарядился зачем-то в особый «эстетический костюм»: брюки до колен, шелковые чулки, бархатная куртка, и в таком виде, с подсолнечником в руке, являлся не раз перед публикой. «Немудрено, — говорит его биограф, — что над ним издевался весь Лондон». И к тому же Уайльд вменил себе в обязанность взирать на этот подсолнечник с видом величайшего восторга!

Естественно, публика не столько слушала его лекции, сколько смотрела на него самого, и смотрела весьма неприязненно. Все в нем казалось вызывающим, все раздражало ее.

Когда он приехал в Нью-Йорк и вошел в один ресторан, — публика стала швырять в него ложками и тарелками. Стекла его экипажа были разбиты камнями. И, чтобы обеспечить в Нью-Йорке безопасность ему и его костюму, его по улицам сопровождали полицейские. Так возненавидела его американская чернь.

И этот талант — раздражать и сердить перенес Уайльд в свои книги.

Манерность, рисовка, поза, неискренность и, главное, задор, вызывающий тон, желание всех раздражить, озадачить — вот что чудилось многим чуть не в каждом его произведении.

Вызывающе кричал он на всех перекрестках, что нам нужна ложь, как наука; ложь, как искусство; ложь как общественное благо, что правда погубила красоту («Упадок Лжи»).

Вызывающе восхвалял он поэта-убийцу Уэнрайта, так мастерски владевшего пером, карандашом и — отравой. Вызывающе воспевал он этого «образованного, даровитого юношу», который был «искуснейшим отравителем нашего — да и всякого! — века» («Перо, Карандаш и Яд»).

— Я могу сочувствовать всему, только не горю людскому, — повторял он с такой же бравадой. — Оно слишком некрасиво. Жить для других — унинительно. Чем мы жесточе к людям, тем более мы им делаем добра.

Говорить наперекор, «на зло», выворачивать идеи, чувства, слова на изнанку было для него не просто игрою ума, не просто праздной забавой, а истинной потребностью души. Он был фанатиком своих парадоксов, он свято в них верил, и его ярчайшая книга — «Замыслы» навсегда останется свидетельством, как искренно и глубоко прочувствовал этот прихотливый поэт то, что с первого взгляда казалось только бравадой и позой. Его знаменитый роман «Портрет Дориана Грэя» есть страстный и боевой парадокс. Дальше идти было некуда. Уайльд затеял доказать, что тени и сны искусства реальнее, чем сама реальность, и вот изобразил перед нами юного красавца Дориана, и рядом с ним его живописный портрет. У портрета была душа, хотя юноша был бездушен. Портрет страдал, но бесстрастен был юноша. Пор-